
Марк Мацкевич
Завхоз академии боевых магов
18+

Марк Мацкевич

Завхоз академии боевых магов

«Автор»
2026

Мацкевич М.

Завхоз академии боевых магов / М. Мацкевич — «Автор», 2026

Тройное жалованье просто так не платят.Марта приехала в академию боевых магов завхозом и в первый же день насчитала в кабинете ректора четыре стула вместо двенадцати. Подписать «всё на месте» она отказалась. Теперь у неё шестьдесят дней, чтобы найти пропавшие деньги академии. Не найдёт — долг повесят на неё.Все следы ведут к ректору. Он не спорит и не оправдывается: таскает с ней уголь, в метель держит щит над крышей казармы, угощает мятными леденцами. А по ночам кто-то увозит этот уголь на санках за полигон — туда, куда её просят не ходить.Вор он или нет? И что прячет за полигоном человек, которому она начинает верить?

© Мацкевич М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двенадцать стульев 6
Глава 2. Счёт на имя ректора 10
Глава 3. Угольный подвал 15
Глава 4. Починочная суббота 20
Глава 5. По мерке 24
Глава 6. Крыша 28
Глава 7. Что горит на самом деле 32
Глава 8. Двадцать шесть лет 36
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Марк Мацкевич
Завхоз академии боевых магов

Завхоз академии боевых магов
Марк Мацкевич

Глава 1. Двенадцать стульев

Тройное жалованье просто так не платят. Это я знала ещё в госпитале: если за место дают втрое, значит, двое до тебя уже отказались, а третий сбежал ночью через кухню.

Господин Фрид из попечительского совета написал мне честно. Прежний хранитель ушёл на покой, по бумагам в академии всё сходится, а денег к зиме нет. Нужен кто-то, кто считает не одни бумаги. Про то, что академия стоит на крепостном валу и ветер там сдувает с телеги даже возчика, он не написал, и про запах тоже.

В кабинете ректора пахло гарью и мятными леденцами. Гарью, как я потом выяснила, в академии боевых магов пахло везде, включая кладовую с бельём. А вот леденцы были его личные: полная жестянка стояла на подоконнике, и крышка у неё оплавилась с одного края.

Опись лежала на столе. Я ждала амбарную книгу с жирными пятнами, а это оказался том в мою ладонь толщиной, с печатью Реестра на корешке. Ректор раскрыл его на последней странице, развернул ко мне и положил сверху перо.

— Вот здесь, госпожа Брок. «Принято полностью». Бруно подписывал двадцать шесть лет, и ничего, ушёл на своих ногах.

Говорил он негромко и смотрел при этом куда-то мимо моего плеча, подставив мне правую щёку. Я знаю эту манеру: так слушают просителей люди, у которых на тебя нет времени. Жилистый, сухой, быстрый, рукава закатаны, под левым ухом белый рубец уходит за воротник. Пока я поднималась по лестнице, его трижды окликнули по имени, и он каждому ответил.

Перо я не взяла. Я открыла опись на первой странице.

«Кабинет ректора. Стол дубовый, один. Шкаф книжный, два. Стул с высокой спинкой, двенадцать».

Я подняла голову и посчитала. На одном сидел он. Один стоял у стены, придавленный стопкой чьих-то тетрадей. Третий держал на себе горшок с геранью, и герань, судя по виду, пережила не одни учения. На четвёртый сесть предлагали мне, только я пока стояла.

— Четыре, — сказала я.

— Простите?

— Стульев четыре. В описи двенадцать.

Он повернулся ко мне всем лицом, и я впервые увидела его глаза: серые, усталые и очень весёлые. Весёлые мне не понравились. Человеку, у которого не хватает восьми стульев, положено хотя бы смутиться.

— Остальные уничтожены на учениях, — сказал ректор.

— В кабинете?

— Учения бывают разные.

Я перевернула страницу назад. Восемь строк про стулья и правда были серыми, как зола на совке, а четыре остались чёрными. Возле каждой серой стояло мелко: «списано, К. В.». Я поскребла одну ногтем: чернила не стёрлись, только палец стал холодным.

— Вещи нет, строка погасла, — объяснил он. — Реестр честный. Не врёт даже мне.

— А кто списал?

— Я.

— Все восемь?

— Госпожа Брок, это академия боевых магов. Здесь за год сгорает больше, чем в вашем госпитале за десять. Если вы начнёте с моих стульев, до угольного подвала дойдёте к весне.

Про подвал я запомнила. Человек, который не хочет, чтобы куда-то смотрели, обычно называет это место последним, а он назвал первым.

Во дворе хлопнуло. Не громко, так хлопает мокрая простыня на ветру, но стёкла в рамах коротко звякнули. Ректор даже не обернулся. А у меня под пальцами, на раскрытой странице,

выцвела до серого ещё одна строка: «Учебный корпус, второй этаж. Стекло оконное». Рядом с ней сама собой встала сегодняшняя дата, и никаких букв.

— Минус стекло, — сказала я.

— Второй курс, — согласился он. — По средам у них щиты.

— Сегодня вторник.

— Значит, готовятся.

Я закрыла опись и накрыла её рукой. Том был тёплый, как бок у печи. В госпитале я за десять лет приняла шесть складов и ни одного не глядя. Один раз мне так подсунули тридцать одеял, которых не существовало, и я полгода объясняла попечителям, что не шила из них себе приданое. Мне хватило.

— Я не подпишу «полностью», — сказала я.

— Хранителя не может не быть дольше трёх дней. Сегодня третий. — Он сказал это без нажима, как говорят о погоде. — В полночь арсенал закроется сам, и до нового хранителя его не откроет никто. У меня четвёртый курс без учебных клинков, у вас брат на третьем. Он, кстати, толковый. Мебель жжёт редко.

Вот, значит, как. Про Янека он знал до того, как я вошла.

— Тогда я подпишу иначе.

Перо я всё-таки взяла и вывела под последней строкой крупно, чтобы не было разночтений: «Принято условно, с пересчётом в два месяца. Марта Брок, хранитель». Чернила впитались сразу, будто бумага хотела пить. Из-под моей подписи вылезла тонкая строчка чужим почерком: «Срок пересчёта: шестьдесят дней. Несведённое переходит на хранителя».

В кармане юбки стало тяжело и горячо. Я сунула туда руку и вытащила связку ключей, которой минуту назад у меня не было: штук сорок, на кольце шириной в моё запястье. Тёплых, как свежий хлеб.

Ректор смотрел на эту строчку дольше, чем нужно, чтобы её прочесть. Весёлости в глазах у него убавилось, а удивления я так и не дождалась. Похоже, он давно знал, что рано или поздно сюда придёт кто-то, кто умеет считать до двенадцати.

— Шестьдесят дней, — сказал он. — За шестьдесят дней, госпожа Брок, у нас сгорит ещё стульев десять.

— Тогда начнём с них. — Я подвинула к себе четвёртый стул и наконец села. — А за стекло во втором этаже я выпишу счёт. На чьё имя писать, на второй курс или на того, кто разрешил им щиты по вторникам?

Он достал из оплавленной жестянки леденец, подумал и протянул жестянку мне.

— Пишите на меня, — сказал Конрад Вильм. — Я привык.

Леденец я взяла. Счёт от этого меньше не станет.

Сорок ключей и ни одной бирки. Бруно за двадцать шесть лет, видно, выучил их на ощупь, а мне оставил кольцо, которое оттягивало карман, как непослушный ребёнок оттягивает руку.

Во дворе брусчатка была в чёрных пятнах, круглых, с тарелку, и я обходила их, пока не поняла, что обходить придётся весь двор. У стены учебного корпуса двое мальчишек сметали стекло в совок, и один держал метлу так, как её держат люди, впервые увидевшие метлу вчера. Девочка с опалённой чёлкой стояла рядом и смотрела в землю. Я записала в уме: стекло одно, метла одна, чёлка не моя забота.

Казарму я услышала раньше, чем вошла. Двести человек от шестнадцати до двадцати двух гудят, как прачечная в день большой стирки. Внутри было холодно. Не свежо, не прохладно: изо рта шёл пар, и на подоконнике третьего этажа стояла кружка, в которой вода взялась корочкой. Печи на каждом этаже были чуть тёплые, на ладонь не обжигали. В двух окнах вместо стёкол темнели доски, и между досок кто-то аккуратно натолкал тряпок. Тряпки были хорошие, полотняные. Я потянула за одну и вытащила казённую наволочку.

— Это мы временно, — сказали у меня за спиной.

Их было пятеро, все в серых куртках с прожжёнными обшлагами, и в середине стоял мой брат. Он вырос ещё на полголовы, уши остались прежние. Увидел меня, и уши стали красные.

— Временно с какого числа? — спросила я.

— С прошлой зимы, — честно ответил рыжий слева.

— А это кто? — шёпотом спросил другой, и спросил он не меня.

— Родственница, — сказал Янек, глядя в доски. — Дальняя.

Я четыре года стирала этому человеку рубашки и два раза вытаскивала его из реки. Но ему девятнадцать, вокруг товарищи, а я стою с наволочкой в руке и с лицом, которое, как говорили в госпитале, видно через две палаты.

— Очень дальняя, — согласилась я. — Наволочку заберу. Стекло будет.

— Когда? — спросил рыжий.

— Когда посчитаю, сколько вас тут таких временных.

Он догнал меня на лестнице, между вторым этажом и первым, где никого не было. Обхватил со спины, ткнулся подбородком в макушку, как делал лет с четырнадцати, когда перерос, и сказал в платок:

— Ты зачем сюда приехала, а?

— Жалованье тройное.

— Марта.

— И печи у вас холодные. Иди, дальний, пока не увидели.

Он ушёл, перепрыгивая через ступеньку. От его куртки пахло той же гарью, что от всего здесь, и ещё чуть-чуть нашим домом: сухой мятой, которую я зашивала ему в подкладку от моли. Я постояла на лестнице, пока не перестало щипать в носу, и пошла искать кухню. На кухне всегда знают больше, чем в канцелярии.

Кухня была единственным местом в академии, где не пахло горелым, и уже за это я готова была её полюбить. Пахло луком, мокрым деревом и хлебом. Старшая кухарка оказалась женщиной моего роста и вдвое шире, с руками, красными по локоть. Она посмотрела на кольцо у меня в кулаке, потом на наволочку, потом мне в лицо.

— Новая?

— Новая. Марта Брок.

— А ела сегодня новая?

Передо мной встала миска. Каша была пшённая, густая, с салом, и я съела её стоя, пока Грета гремела заслонкой и не задавала вопросов. Потом положила ключи на стол, чтобы взять хлеб обеими руками.

— Печи в казарме холодные, — сказала я.

— А с чего им быть горячими?

— Угля нет?

— Кто сказал, что нет? Уголь есть. Его в этом году выдают по счёту.

— Кто считает?

— А кто у нас считает? — Грета вытерла руки о передник. — Ректор и считает. Сам спускается, сам вёдра отпускает. На кухню шесть в день, на казарму по четыре на этаж. Я ему говорю: дети мёрзнут. Он говорит: до весны должно хватить.

— А раньше хватало?

— Раньше Бруно не считал.

Она сказала это ровно, и я не поняла, хвалит она Бруно или ругает. Про ректора в казарме говорили иначе: я слышала его имя на каждом этаже, и произносили его так, как в госпитале произносили имя хирурга, у которого никто не умирал. А Грета назвала его просто «ректор» и отвернулась к печи.

Я доела хлеб, поблагодарила и дошла до самой двери, прежде чем вспомнила про ключи. Обернулась. На столе стояла пустая миска. В кармане юбки было тяжело и тепло.

— У Бруно они в супе всплывали, — сказала Грета, не оборачиваясь. — Привыкнешь.

Комнату хранителя я нашла по самому стёртому ключу. Первый этаж главного корпуса, окно во двор, кровать, стол, сундук для бумаг и печка-голландка с изразцами, на которых кто-то терпеливый нарисовал синих петухов. У печки стоял угольный ящик. В ящике лежал совок.

Больше там не было ничего.

Подвал находился прямо подо мной, через один пролёт, и нужный ключ я, наверное, угадала бы с третьего раза. Я даже встала. Потом села обратно на кровать, не снимая платка. Если я возьму оттуда ведро раньше, чем измерю, сколько там есть, я завтра сама себе не поверю. В подвал я войду утром, с мерным коробом и при свете. А одну ночь можно пережить и в платке: в госпитале в ледоход я ночевала в бельевой и не так.

Сундук свой я разбирать не стала. Достала только тетрадь в клеёнчатой обложке и карандаш.

В дверь постучали, когда пальцы у меня уже плохо гнулись.

За дверью стоял ректор с ведром. Без сюртука, в одной жилетке, и стоял он опять боком, правым плечом ко мне. Ведро держал легко, на отлёте, чтобы не мазнуть по штанине.

— Вы не спускались в подвал, — сказал он.

— Не спускалась.

— Я так и подумал. Это из моих.

— У ректора свой уголь?

— У ректора своя норма. Я её не выбираю.

Он поставил ведро у печки, посмотрел на неразобранный сундук, на меня в платке и на тетрадь. Мне показалось, он хочет что-то сказать про сундук. Но сказал он другое:

— Заслонку тяните до конца, она заедает на середине. Бруно стучал по ней совком.

— Спасибо.

— Доброй ночи, госпожа Брок.

Он ушёл так же быстро, как появился, и шагов его на лестнице я не услышала. Ведро осталось. Хорошее ведро, клёпаное, с целой дужкой: я отметила это раньше, чем сообразила, что ректор академии сам нёс его мне через два этажа на ночь глядя.

Сверху лежали куски с кулак, чёрные, с блеском, один к одному. Я сложила в топку пять штук, подсунула лучину, вытянула заслонку до конца и стукнула по ней совком. Занялось сразу. Спина под платком начала отходить, и я полезла в ведро за следующей горстью.

Рука ушла по запястье в мягкое.

Я вытащила её и поднесла к огню. Угольная пыль, тонкая, как ржаная мука последнего помола, текла у меня между пальцев и ложилась на изразцовых петухов. Я перевернула ведро над ящиком. Сверху выкатился десяток хороших кусков, а за ними тихо, с шорохом, высыпалась чёрная горка, от которой в печи будет больше дыма, чем жара.

В госпитале такое бывало по двум причинам: поставщик досыпал возы пылью или подвал выскребали до пола. Третья причина пришла мне в голову сама и понравилась меньше обеих: человек выбрал из своей нормы лучшее, что в ней нашлось, и положил сверху.

Я вытерла руку о наволочку, всё равно стирать. Открыла тетрадь и написала на первой странице:

«Счёт № 1. Ведро угля, одно. Угля в нём — полведра».

Подумала и приписала ниже, уже для себя: «Спросить, чем он сам топит».

Ключи в кармане грелись лучше печки.

Глава 2. Счёт на имя ректора

Счёт я писала на подоконнике, потому что стол в моей комнате был занят: на нём сохла наволочка. Бумагу взяла из своего сундука, госпитальную, в синюю линейку. Вышло коротко.

«Стекло оконное, учебный корпус, второй этаж, одно. Четырнадцать медяков. Работа стекольщика из слободы — шесть. Итого двадцать. Плательщик: К. Вильм, ректор».

Подумала, не дописать ли «по собственному согласию плательщика», и не стала. Согласие вчера слышала одна герань.

Арсенал, к слову, в полночь не заперся. На рассвете четвёртый курс вынес оттуда учебные клинки, и самый длинный ключ на кольце грелся у меня в кармане всё время, пока они шли мимо окна. Теперь я хотя бы знала, который из сорока от арсенала.

Во дворе строился второй курс. Среда, щиты. Десятка три с лишним серых курток стояли в две шеренги на чёрной от подпалин брусчатке и дышали паром, а перед ними ходила женщина в коротком плаще и говорила так, будто рубила капусту.

— Локоть. Выше. Не выше, а выше. Кто вчера не удержал, выйти.

Никто не вышел. Девочка с опалённой чёлкой смотрела себе под ноги, и по бокам от неё двое мальчишек старательно смотрели туда же.

Ректор стоял поодаль, у стены, руки за спиной. В строй не вмешивался. Окно над его головой чернело пустой рамой, и в раму уже кто-то вставил доску. Быстро у них тут с досками.

Я прошла через двор наискосок, прямо между шеренгами и женщиной в плаще: если ждать, пока все закончат, не дождёшься никогда.

— Господин ректор. Ваш счёт.

Весь строй повернулся разом. Женщина в плаще не повернулась, она развернулась вся, на каблуке.

— Это что?

— Стекло, — сказала я. — Вчерашнее.

— Вы кто?

— Хранитель. Марта Брок. А вы, наверное, декан Герд.

— Наверное. У меня занятие.

— Я на минуту. Заодно объявление, раз уж все здесь. — Я повернулась к шеренгам и сказала громко, как говорила санитарам в день приёма раненых с баржи: — С этой недели в академии починочная повинность. Сжёг, разбил, проплавил — чинишь сам, в субботу, под моим присмотром. Не умеешь — научу. Не хочешь — платишь по счёту, счёт выпишу я. Доски в окнах больше не считаются стеклом, наволочки не считаются паклей.

Во второй шеренге засмеялись. Сначала один, высоким голосом, потом человек пять. Смеялись беззлобно, так смеются над новой учительницей в первый день: проверяли, покраснею или нет.

— Боевых магов, — сказала декан Герд, — не учат стеклить.

— А бить учат?

— Учат держать щит. Бьётся в процессе.

— Вот процесс и будет чинить.

— Суббота — день отработки ударов.

— В субботу будут ударять молотком. По гвоздю. Это труднее, чем кажется.

Смех стал громче, и теперь в нём было человека три на моей стороне. Декан Герд набрала воздуху. Я видела, что сейчас она скажет что-нибудь такое, после чего мне придётся либо уходить со двора, либо ссориться с ней при всём втором курсе на второй день службы, и оба выхода были плохие.

Ректор отлепился от стены. Подошёл, встал ко мне правым плечом и раскрыл ладонь. Счёт я отдала.

Он прочитал вслух. Негромко, но двор затих, и было слышно каждое слово:

— Стекло оконное, одно. Четырнадцать медяков. Работа — шесть. Итого двадцать. Плательщик — Вильм. — Он сложил лист вчетверо и убрал в нагрудный карман. — Работу вычеркните, госпожа Брок. Четырнадцать я занесу вам вечером. В субботу приду со своим стеклорезом.

Смеяться перестали.

Про себя я отметила две вещи. Первая: у ректора есть свой стеклорез, и это надо обдумать отдельно. Вторая: он мог сказать «занесите в канцелярию» и уйти, и никто бы не удивился. Зачем ему понадобилось вставать рядом, он не объяснил, а я не спросила. Достала карандаш и записала на ладони: «Суб. Вильм. Стекло, второй эт.».

— Адель, — сказал он декану, — суббота после полудня ваша. До полудня её.

Декан Герд посмотрела на него так, как Грета смотрит на подгоревшее. Потом на меня.

— До полудня, — сказала она. — Ни минутой дольше.

— Мне хватит.

Я уже пошла обратно, когда сзади сказали тонко и очень быстро, пока не кончилась храбрость:

— Это мой щит был. Вчера. Он поехал.

Девочка с чёлкой вышла из шеренги на полшага. Уши у неё были красные, как у моего брата, когда он врёт, только она не врала.

— Как зовут?

— Клара.

— В субботу, Клара, будешь держать замазку и подавать гвозди ректору. Он будет ронять, ты подбирай.

— Я не роняю, — сказал ректор.

— Посмотрим.

Мальчишки по бокам от Клары выдохнули так дружно, что пар от них пошёл одним облаком.

Гость приехал, когда я в третий раз перекладывала ключи по размеру и пыталась понять, почему шесть самых маленьких совершенно одинаковые. В дверь постучали мягко, двумя пальцами.

Господин Лотар Фрид оказался таким, каким я представляла его по почерку: круглый, чистый, в хорошем дорожном пальто, с бумажным кульком в руке. От кулька пахло мёдом и гвоздикой, и после суток в гари у меня от этого запаха защипало под языком.

— Госпожа Брок! Мы с вами наконец-то видимся. Я с пряниками, из слободы, у вдовы на углу лучшие. Вы позволите?

Он сел на единственный стул, я на кровать. Кулёк он пристроил на столе возле наволочки. Сундук мой так и стоял неразобранный, и господин Фрид его заметил и, по-моему, одобрил.

— Мне уже рассказали про условную приёмку, — сказал он. — Смело. Бруно бы не решился. Мы с вами, конечно, понимаем, что это значит: шестьдесят дней, и несведённое на вас.

— Понимаем.

— Тогда я вас обрадую. Шестьдесят дней вам не понадобятся. — Он развязал кулёк и подвинул ко мне. Пряники были тёмные, с белой глазурью крест-накрест. — Мы в совете не слепые. Ревизоров присылали дважды, бумаги у ректора в порядке, не подкопаешься. Только вот какая штука: всё, чего в академии не хватает, списано одной рукой. Вы вчера сами видели.

— Восемь стульев видела.

— Вот. А там не стулья. Там одеяла, кровати, печь чугунная, я уж не говорю про расходное. Всё «уничтожено на учениях», всё с его инициалами. Реестр такую запись принимает: подпись есть, значит, списано. А сгорело оно или нет, Реестр не спрашивает.

Он говорил мягко и с сожалением, как лекарь, которому самому неприятно называть болезнь. Я взяла пряник, чтобы занять руки.

— От вас, госпожа Брок, нужно немногое. Приёмка ваша условная, закрыть её можно двумя способами: свести опись или назвать, куда ушло недостающее. Назвать вы можете хоть завтра. Одна страница: «Недостающее списано ректором без оснований, что подтверждаю осмотром». Совет соберётся через неделю, вывод примет, запись закроется. Жалованье за оба месяца мы вам выплатим полностью, вы ведь не виноваты, что управились быстро.

— А ректор?

— А ректор будет объясняться с советом. Это уже не ваша печаль и, признаться, давно назревшая.

Пряник был хороший. Мягкий, с изюмом внутри. Я жевала и думала, что за десять лет мне ни разу не предлагали заработать двухмесячное жалованье одной страницей, и что предложили это вежливо, за моим же столом, человек, который меня нанял и который, если разобраться, ничего дурного не сказал. Инициалы я видела сама. Стульев нет. Уголь выдаёт лично ректор, и в ведре у него пыль.

И всё-таки вчера ночью этот человек нёс мне ведро через два этажа, а сегодня утром встал рядом, когда надо мной смеялись.

Это, конечно, ничего не доказывало. Воры бывают очень любезные. У нас в госпитале был кастелян, который дарил сиделкам платки на именины и за шесть лет вынес четыреста простыней.

— Я не подписываю того, чего не считала, — сказала я.

— Так вы же видели.

— Я видела четыре стула. Одеял и кроватей я не видела, подвала не мерила. Если я напишу «подтверждаю осмотром», а осмотра не было, то чем я лучше того, кто пишет «уничтожено на учениях»?

Господин Фрид рассмеялся, негромко и, кажется, искренне.

— Вот за это мы вас и выбрали. Считайте, госпожа Брок, считайте. Шестьдесят дней ваше право, мы с вами не торопимся. — Он встал, застегнул пальто. — За уголь я, к слову, спокоен: товарищество у нас давнее, надёжное, возят двадцать лет. Вы лучше смотрите, куда он девается потом.

У двери он обернулся, уже в перчатках.

— И ещё, чтобы вы понимали, как всё связано. Совет держит в академии тридцать казённых мест. Держатся они на том, сойдётся ли счёт к Счётному дню, а он у нас в этом году аккурат на ваш шестидесятый. Не сойдётся — места придётся закрывать, тут уж не моя воля. У вас ведь брат на казённом?

— На казённом.

— Ну вот. Тем приятнее будет управиться пораньше.

Про брата он спросил тем же голосом, каким хвалил пряники. Я обнаружила, что держу кулёк за бечёвку и что бечёвка врезалась мне в палец до белого.

Кулёк он оставил. Я пересчитала: одиннадцать штук, двенадцатый съела я. Завязала бечёвку обратно и убрала пряники в сундук, под тетради. Есть их мне расхотелось, а выбрасывать еду я не умею.

Список я составляла до темноты, в канцелярии, под лампой, которую писарь выдал мне с таким лицом, точно отрывал от сердца. Слева лежала опись, справа журнал дежурных по казарме. В описи я искала строки, которые погасли сами: серые, с датой и без инициалов. С начала осени таких набралось тридцать одна. Тридцать одна вещь сгорела честно, без чьей-

либо подписи, и про такие господин Фрид утром не сказал ни слова. У него выходило, что в академии горит только то, что списал ректор. В журнале против каждой даты стояло, что случилось и с кем: дежурные тут писали охотно, с подробностями, как пишут люди, которым скучно ночью.

«Дверь умывальной, прогар. Четвёртый курс, спор о дальности». «Таз медный, оплавлен. Виновный не установлен, таз стоял на окне». «Кровать, ножка. Сам упал».

Работа была простая и даже приятная. Вещь, дата, имя. К девятнадцатой строке я выучила половину третьего курса по фамилиям и могла сказать, кто из них левша.

Двадцать третья строка была: «Казарма, третий этаж. Скамья дубовая». Дата двухнедельной давности. Я повела пальцем по журналу.

«Скамья, сквозной прогар сиденья. Брок Я., третий курс. Объясняет, что показывал первокурсникам, как не надо».

Палец у меня остановился и постоял.

Вот он, значит, какой толковый. Мебель жжёт редко.

Скамья дубовая в слободе стоит сорок медяков, я утром приценялась заодно со стеклом. На чистом листе я вывела то же, что остальным двадцати двум: вещь, дата, сумма, плательщик. Рука ни на одной букве не дрогнула. Дрогнуло что-то пониже ключицы, но это в счёт не вносится.

Понесла сама. Тридцать счетов раздала дежурному по этажам, а этот понесла сама, потому что если бы его принёс дежурный, вышло бы, что сестра спряталась.

Комната у них была на шестерых. Янек сидел на койке и штопал обшлаг, длинными стежками, как я учила, и я успела этому порадоваться, прежде чем он поднял голову.

— Брок Я., — сказала я. — Скамья дубовая. Сорок медяков или суббота с рубанком.

Рыжий на соседней койке захохотал так, что уронил сапог.

— Дальняя! Дальняя родственница принесла!

Янек взял лист. Прочитал. Уши у него пошли пятнами.

— Ты серьёзно?

— Там ещё тридцать таких. Твой двадцать третий.

— Марта, у меня нет сорока медяков.

— Знаю. Я тебе их и присылала.

— Ты мне сестра или кто?

— До субботы хранитель.

Он скомкал лист, потом расправил на колене, потому что бумага казённая и комкать её он с детства не приучен. Смотреть на меня он не стал. Рыжий икал от смеха в подушку, ещё двое делали вид, что читают.

Мне очень хотелось сказать: дай сюда, я вычеркну, только штопай ровнее. Одной строкой меньше, кто заметит. Я развернулась и вышла, пока не сказала. Начнёшь вычёркивать своих, через месяц вычеркнешь неудобное. А счёт, на котором держится его казённое место, должен сойтись весь, вместе со скамьёй.

Во дворе было черно и тихо, мороз к ночи взялся крепче. Я шла к главному корпусу и по привычке считала дымы. Над кухней один, густой. Над казармой три, жидкие, прозрачные на звёздах. Над котельной столб. Над моим окном тонкая струйка: с утра я всё-таки истопила пыль, и она чадила до сих пор.

Под самой крышей главного корпуса светилось окно. За занавеской прошла тень, быстрая, сухая, и села, видимо, к столу.

Над этим окном трубы были две. Не дымила ни одна.

Я постояла, задрав голову, пока не замёрз подбородок. Потом пришла к себе, открыла тетрадь на первой странице, где под счётом номер один было приписано «спросить, чем он сам топит», и ниже поставила ответ:

«Ничем».

Глава 3. Угольный подвал

Мерный короб я выпросила у Греты ещё затемно. Дубовый, окованный по углам, с двумя ручками и клеймом слободской палаты на дне: ровно двадцатая часть воза, ни горстью больше. Пустой он весил как годовалый ребёнок. Каким он будет полный, я старалась не думать.

К подвалу вела лестница в четырнадцать ступеней, и на седьмой я услышала голоса. Внизу горел фонарь. Вдоль стены стояла очередь: дежурные с вёдрами, человек десять, сонные, в куртках поверх исподнего. А у закрома, с грифельной доской под мышкой и совковой лопатой в руке, стоял ректор и насыпал.

— Казарма, второй этаж. Четыре.

Четыре ведра. Черта на доске.

— Кухня. Шесть. Скажи Грете, что кусками, я отбирал.

Он работал быстро и аккуратно, не просыпая, как человек, который делает это каждое утро и давно перестал думать про руки. Меня он заметил сразу, я видела по плечу. Но достоял до конца очереди, отпустил последнего, поставил черту и только тогда повернулся. Правым боком, разумеется.

— Госпожа Брок. Я думал, вы придёте к полудню.

— В полдень тут уже натопчут.

— Тут с лета натоптано.

Дежурные ушли, гремя дужками. Стало слышно, как наверху, за толщей свода, кто-то бежит по коридору. Я подняла фонарь повыше.

Подвал был большой, гораздо больше, чем я ждала: шесть закромов под кирпичными арками, по три с каждой стороны прохода. Четыре стояли пустые и выметенные до камня. Так подметают, когда собирают последнее. В двух оставшихся уголь лежал чёрным скатом, не доходя до верха, и на стене над ним белела старая зарубка, широкая, в мою ладонь.

— Это Бруно ставил, — сказал ректор. — До зарубки в закром входит девять возов.

— Вы проверяли?

— Нет.

— Тогда и я пока не знаю, что входит девять.

Опись я принесла с собой, завёрнутую в чистое полотенце. Уголь в ней шёл партиями, по строке на воз: сорок строк с прошлого лета, под каждой «принято полностью» и подпись Бруно с хвостиком. Двадцать восемь серых. Двенадцать чёрных.

Двадцать восемь возов, выходит, сожжено. Двенадцать должно лежать передо мной.

Поверить описи на слово значило бы начать не с того конца. Сперва я хотела знать, сколько тут лежит на самом деле, и для этого годился только короб. Я поставила его у ближнего закрома, подоткнула юбку и взялась за лопату.

Зарубку я проверила на себе: один угол закрома от пола до черты пересыпала коробами, остальное досчитала шагами. Мой шаг — аршин без вершка, я им десять лет мерила полотно. Лопата визжала по камню, пыль садилась на ресницы и на язык. На угол ушло двадцать шесть коробов, и первые шесть я перетаскала сама. На седьмом у меня хрустнуло в пояснице, и короб сам собой сделался легче: с другой стороны его взяли за ручку.

Сюртук ректора висел на гвозде у лестницы. Когда он успел его снять, я не видела.

— Куда?

— К той стене. И высыпать ровно, я потом обратно мерить буду.

— Обратно, — повторил он без всякого выражения и понёс.

Дальше мы работали вдвоём. Я насыпала и считала вслух, он носил и высыпал. Носил он не так, как носят сильные люди, напоказ, на вытянутых руках. Он прижимал короб к бедру,

шёл коротким шагом и на повороте придерживал дно ладонью, чтобы не тряхнуть. Так носят те, кому приходилось таскать тяжёлое долго и кому никто за это не хлопал.

К десятому коробу у него рукава были чёрные по локоть, и на рубце под ухом лежала угольная полоса. К двадцатому мы оба дышали ртом, и пыль скрипела на зубах, сладковатая, как подгоревшая корка.

— Спрашивайте, — сказал он вдруг, ставя пустой короб. — Вы третий день смотрите на меня так, будто у вас список. Спрашивайте о чём угодно. Кроме денег.

— Кроме денег у меня один вопрос.

— Слушаю.

— Почему вы ко мне всё время боком?

Он остановился. В глазах у него мелькнуло то самое весёлое, что так не понравилось мне в первый день, только теперь оно продержалось недолго.

— С этой стороны я красивее.

— Мне для описи не красота нужна.

— Тогда считайте, что привычка.

И подставил ручку короба. Правую.

К полудню у меня было три страницы цифр и чёрные ногти. Зарубка Бруно не врала: до черты в закром входило девять возов, даже чуть с походом. Оба ската доходили до двух третей. Я пересчитала дважды, второй раз от дальней стены, шагами, и ректор держал фонарь там, где я показывала, и ни разу не сказал, что я уже считала.

Шесть и шесть.

— Двенадцать возов, — сказала я.

— Двенадцать.

— Вы знали.

— Я каждое утро сюда спускаюсь, госпожа Брок.

Двенадцать чёрных строк, двенадцать возов в закромах. Опись сходилась с подвалом вершок в вершок, и от этого мне стало совсем нехорошо. Когда не сходится, хотя бы видно, где искать.

— Дайте доску, — сказала я.

Он отдал без слова. Доска была исписана чертами по пять, плотно, с обеих сторон, и внизу каждой стороны стоял итог его рукой. С первой топки, с начала осени, он отпустил на кухню и на печи двенадцать возов без четырёх вёдер.

— Котёл сюда входит?

— Котёл Ульрих берёт сам. У него свой счёт.

— Он мне его покажет?

— Вам покажет. — Ректор снял сюртук с гвоздя, глянул на чёрные ладони и надевать не стал, перекинул через локоть. — Только не заходите к нему со стороны двора. Он решит, что вы от меня.

Котельную я нашла по гулу. Низкая дверь, три ступени вниз, и за ней тепло, настоящее, плотное, от которого у меня сразу потекло из носа. Большой котёл занимал полпомещения: клёпаный бок выше моего роста, медные трубки, четыре круглых стекла со стрелками. Стрелки дрожали. Две ходили туда и обратно, как хвост у кошки перед прыжком.

Перед котлом на табурете сидел старик в кожаном фартуке и смотрел на стрелки с ненавистью.

— Опять, — сказал он, не оборачиваясь. — Опять притащились. Я ж говорил: к стене не подходить.

— Кто?

— А то вы не знаете кто.

Я вышла обратно и обогнула угол. Под окошком котельной, привалясь спинами к тёплому кирпичу, сидели на корточках двое, по виду четвёртый курс. Один грел ладони о стену, второй, красивый, с ленивой улыбкой, просто дремал. Над головой у дремлющего тихонько вился парок, хотя снега ещё не было и таять было нечему.

— Огневики?

— Так точно, — сказал красивый, не открывая глаз.

— Встали. Вон там зола, четыре ящика. Отнести на кухню, Грете на щёлок. Потом можете греться у кухонной стены, она от вас не дёргается.

— А вы, простите, кто будете?

— Я буду та, кто в субботу раздаёт молотки. Могу дать полегче, могу потяжелее.

Глаза он открыл. Посмотрел на кольцо с ключами, торчащее у меня из кармана, на чёрные руки, на лицо. Встал, не торопясь, и толкнул товарища коленом.

— Эрик, — представился он. — Староста четвёртого. А если отнесём, суббота нам зачтётся?

— Суббота никому не зачитывается. Зола.

Когда я вернулась, стрелки стояли. Все четыре, ровно, носами вверх. Старик сидел на том же табурете, но смотрел уже на меня.

— Прогнали?

— Пристроила.

— Бруно их уговаривал. — Он пожевал губами. — Ульрих.

— Марта. Сколько съел котёл с первой топки?

Спрашивать, зачем мне, он не стал. Поднялся, кряхтя, подошёл к дверному косяку и ткнул пальцем. По косяку сверху вниз шли зарубки ножом, старые, потемневшие, год за годом, а в самом низу свежие, светлые. Десять.

— По одной на воз. Полвека так считаю, бумаге не верю. Десять возов с осени, одиннадцатый начал позавчера.

— Меньше нельзя?

— Меньше трубы в казарме лопнут.

— А больше вы не брали? Для ректора, скажем. Наверх.

Ульрих посмотрел на меня, как на стрелку, которая дёрнулась без причины.

— Он у меня угля не просил ни разу. За три года. Котёл своё ест, чужого не берёт. И я не беру.

Я поверила. Человеку, который полвека режет зарубки на косяке, нет смысла врать про одиннадцатую.

Считать я села тут же, на перевёрнутом ящике, потому что в котельной было тепло, а у меня в комнате ждала вчерашняя пыль. Считать было нечего, всё уместилось в четыре строки, и я всё равно пересчитала их трижды, надеясь ошибиться.

Принято сорок. Лежит двенадцать. Сгорело, стало быть, двадцать восемь, опись так и говорит.

Я приложила к этому зарубки с косяка и меловые столбики с доски. Академия за осень сожгла двадцать два воза, и ни ведром больше. Потом перевернула доску ректора и повела ногтем по его столбикам, так что мел лёг мне под ноготь поверх угля. На кухню и на печи ушло двенадцать без четырёх вёдер. Как ни складывай, больше двадцати двух из косяка и доски не выжмешь, а я сегодня выжимала с рассвета.

А серых строк двадцать восемь.

Шесть возов.

Я обвела это число, и карандаш прорвал бумагу. Шесть зарубок на косяке у Ульриха — это от пола мне до колена. Шесть возов в закроме — куча выше моей головы, а на её месте

в подвале лежал голый выметенный камень. Угля там было на треть меньше, чем должно, и каждый недостающий короб я сегодня могла бы назвать по имени: спина запомнила.

Руки у меня были в золе. Я вытерла их о передник и только размазала. Шестьдесят дней, и несведённое переходит на хранителя. Я начала прикидывать, во что встанут шесть возов по зимней цене, и бросила на втором: столько у меня в кармане не лежало никогда.

Мешками через ворота их не вынесли: краденый уголь лежал бы где-нибудь целый, и строки бы чернели. Строки серые. Выходит, кто-то сжёг его до золы. Либо я чего-то ещё не понимаю в серых строках.

Только не в котле. И не в казарме, где вода в кружке берётся льдом. И уж точно не под крышей главного корпуса.

— Ульрих. В академии есть ещё печи, кроме тех, что я видела?

— А какие вы видели?

Он сказал это почти как Грета, и я поняла, что больше он сегодня ничего не скажет.

В кабинет я поднялась, когда стемнело. Умылась, сменила передник, ногти отчистить не смогла. Ректор сидел за столом над тетрадями, теми самыми, что в первый день придавливали стул. Теперь стул был свободен, и я села на него сама.

На стол я выложила три вещи. Доску с чертами. Листок с четырьмя строками. И счёт номер один, переписанный начисто.

— Шесть возов, — сказала я. — Сгорели. Не у Ульриха и не по вашей доске.

Листок он читал долго, дольше, чем читал мою запись в описи. Потом положил, выровнял по краю стола.

— Считаете вы верно.

— Я знаю, что верно. Я спрашиваю, где.

— Про уголь я сегодня сказал всё, что могу.

— Это не ответ.

— Нет, — согласился он. — Не ответ.

Что это не ложь, я тоже услышала. Он мог сказать «поставщик недовёз», мог сказать «Бруно приворовывал», мог свалить на котёл, на зиму, на огневиков. Господин Фрид на его месте нашёл бы три объяснения, и все три были бы с пряниками. А этот сидел напротив с углём под ногтями и не давал мне ни одного. Отвернуться к окну он тоже не захотел: смотрел на меня.

Меня это злило так, что хотелось стукнуть доской по столу. И ещё больше злило то, что молчащий он нравился мне сильнее, чем понравился бы с любым объяснением.

— Тогда второе. — Я подвинула счёт. — Ведро угля, одно. Угля в нём полведра, остальное пыль. Я не знаю, кому это предъявлять, поэтому предъявляю тому, кто принёс.

Он прочитал, и я приготовилась к шутке про леденцы. Шутки не было. Он выдвинул ящик стола, отсчитал медяки и положил двумя столбиками: четырнадцать и ещё три.

— Четырнадцать за стекло. Вчера не занёс, у вас было темно. Три за полведра, из моих, не из казённых. Расписку не надо.

— Расписку я дам. У меня без расписки ничего не бывает.

— Тогда давайте.

Я написала тут же, на его бумаге, его пером. Он взял расписку, сложил и убрал туда же, в нагрудный карман, к вчерашнему счёту. Карман у него, я заметила, уже оттопыривался.

— И топите у себя как следует, Марта. Пылью не натопишь. Завтра возьмёте в подвале по своей норме, кусками, я отложу.

Он сказал «Марта», а не «госпожа Брок». Сказал и сам, кажется, услышал, потому что взял перо и стал очень внимательно смотреть в чужую тетрадь.

— А по вашей норме что останется?

— О моей печи не беспокойтесь.

— Над вашим окном две трубы, господин ректор. Я вчера смотрела. Не дымит ни одна.

Перо остановилось.

— Вы и трубы считаете.

— Я всё считаю. Мне за это втрое платят.

Я забрала доску, пообещала вернуть к утренней выдаче и ушла, пока он не придумал, что ответить. На лестнице вспомнила, что так и не спросила про стеклорез. Возвращаться не стала.

У себя я долго сидела перед петухами на изразцах. В ящике у печки лежала чёрная горка пыли и сверху те самые куски, которые выкатились из его ведра первыми. Пять я сожгла в первую ночь, остальные десять так и лежали поверх пыли: с кулак, с блеском, один к одному.

Сложила их обратно в ведро. Хорошее ведро, клёпаное, с целой дужкой.

Лестница под крышу была узкая и такая холодная, что перила липли к ладони. Под его дверью лежала полоска света. Я поставила ведро на пол, тихо, чтобы не звякнула дужка, и сунула под неё листок из тетради:

«Возврат. Десять кусков. В счёт не идёт».

Стучать я не стала. Спустилась к себе, затопила пылью и до полуночи чихала, как первокурсник.

Глава 4. Починочная суббота

Должников набралось тридцать один. Молотков в кладовой нашлось шесть, и у двух болтались головки.

Я разложила всё это на крыльце казармы до света: молотки, две ножовки, рубанок, ящик гвоздей, которые сама вчера полдня выпрямляла на пороге, банку замазки и шесть листов стекла от слободского стекольщика. Стекло он дал в долг, под мои счета, и вёз его сам, обложив соломой, как яйца. На прощание сказал, что в академию возит двадцать лет и первый раз видит, чтобы тут собирались что-то вставлять, а не вынимать.

Должники вышли к восьми. Зевали, толкались, грели руки под мышками. Мороз за эти дни устоялся, брусчатка звенела под каблуком.

— Значит так, — сказала я. — Кто что сжёг, тот это и чинит. Список на двери. Инструмент под расписку, вечером пересчитаю. Кто закончил, показывает мне, я принимаю или не принимаю.

— А если не принимаете? — спросили сзади.

— Тогда вы закончили только по-вашему.

Первый час я ходила по этажам и смотрела. Смотреть было на что. Таз, оплавленный с одного бока, второкурсник выправлял о колено и очень удивлялся, что медь не слушается. Двое первогодков приколачивали ножку к кровати гвоздём длиной в мою ладонь, и гвоздь уже вышел с другой стороны. Я отобрала у них молоток, показала, как ставят клин, и отдала обратно.

Четвёртый курс чинил дверь умывальной.

То есть дверь лежала поперёк коридора на двух табуретах, с дырой в нижней филёнке, круглой, с оплавленным краем, в какую пролезла бы кошка. Вокруг стояли шестеро. Один держал ножовку. Пятеро советовали.

— Тут надо сначала разметить, — говорил Эрик, сидя на подоконнике и качая ногой. — Без разметки нельзя. Маттис, у тебя есть чем размечать?

— Нету.

— Вот видишь. А без разметки я товарищу пилить не дам, он себе палец отхватит, а палец в описи не числится, госпожа хранитель его не примет.

Курс заржал. Эрик поднял на меня глаза, ясные и очень довольные. Он не грубил. Он был вежлив, как на приёме, и работа у него при этом стояла насмерть.

Таких я знаю. С таким нельзя кричать: он только того и ждёт, чтобы новая хозяйка сорвала голос на второй неделе. И уговаривать нельзя, уговаривал Бруно.

— Староста, — сказала я. — Это ведь ты спорил о дальности?

— В журнале написано «четвёртый курс». Без имён.

— В журнале без имён. Но попал-то кто-то один, остальные промазали. Я так думаю, попал лучший.

Он перестал качать ногой.

— Допустим.

— Тогда дверь твоя. Ты старший. Филёнку вырезать, вставить новую, навесить, чтобы закрывалась и не скрипела. Доска вон та, сосновая. К полудню я приду и закрою её одним пальцем. Не закроется — весь четвёртый курс умывается во дворе у колодца, пока не закроется. Там сейчас хорошо, свежо.

— Весь курс?

— Весь. Дует-то на всех.

Я ушла, не дожидаясь ответа, и на лестнице услышала, как за спиной стало тихо, а потом голос Эрика, уже совсем другой, без ленцы:

— Ну чего встали? Маттис, пилу сюда. Не тебе, криворукий. Угольник кто видел?

Угольник лежал у меня в кармане передника. Я вернулась, положила его на дверь и ушла второй раз.

На третьем этаже, в конце коридора, мой брат строгал скамью. Один. Доску для сиденья ему выдали новую, прожжённую он отодрал сам, и теперь вёл рубанком от себя, ровно, как я когда-то учила его на кухонной полке. Стружка шла длинная, завитая. На меня он не посмотрел. Я постояла, пока не поняла, что стою дольше, чем у других, и пошла дальше.

К десяти весь второй курс, который ничего не жёг и которого никто не звал, торчал во дворе под окнами учебного корпуса.

— Придёт, — говорил один.

— Не придёт. Он ректор.

— Он сказал, что придёт.

— Он сказал при ней. Мало ли что говорят при хранителе.

Клара стояла отдельно, с банкой замазки в обнимку, и по лицу было видно, что ей одинаково страшно, придёт он или не придёт.

Он пришёл без четверти десять. Без сюртука, в старой суконной куртке, какие носят плотники, с лестницей на плече и с плоским кожаным чехлом на поясе. Лестницу нёс сам. Двор затих так, что стало слышно, как у кухни Грета ругает кого-то за ведро.

— Госпожа Брок. Стекло, второй этаж. Должник явился.

— Инструмент свой?

— Свой.

Он расстегнул чехол. Стеклорез был старый, с костяной ручкой, обмотанной дратвой там, где ложится палец, и с алмазом, вставленным чуть наискось. Вещь, которой работали много лет и которую после работы всякий раз вытирали.

Я ведь приготовилась смеяться. Признаюсь честно: два дня я представляла, как ректор академии пилит стекло, словно хлеб, и как я потом, очень вежливо, выписываю второй счёт. Смеяться не пришлось. Он положил лист на стол, вынесенный из класса, приложил рейку, провёл один раз, с тонким сухим звуком, от которого у меня свело зубы, постучал снизу ручкой и отломил. Край вышел ровнее, чем у слободского мастера.

— Где вы этому учились?

Спросила я это раньше, чем подумала, можно ли.

— На заслоне. — Он примерил стекло к раме, не глядя на меня. — Стекольщик там в трёх днях пути, а зимой без окон в казарме не живут.

Больше он про заслон не сказал ни слова. Лицо у него стало такое, как у двери, которую закрыли тихо и на оба оборота. Второй курс, который только что шептался, смотрел кто в землю, кто на свои сапоги. Они знали что-то, чего не знала я, и спрашивать у них сейчас было бы всё равно что лезть в чужой сундук.

— Клара, — позвал он. — Замазку.

Она шагнула, споткнулась о ножку стола, и гвоздики, мелкие, стекольные, брызнули из её кулака по всей брусчатке.

— Я подберу! Я сейчас!

— Подбери.

Он подождал. Не вздохнул, не посмотрел на небо, просто стоял со стеклом в руках, пока она ползала на коленках. Потом взял у неё замазку, отщипнул, скатал между ладоней колбаску в палец толщиной и вложил ей в руку. Отщипнул вторую и скатал сам, медленно, чтобы она видела. Клара скатала свою. Вышло криво. Он ничего не сказал, скатал третью, ещё медленнее.

Четвёртая у неё получилась.

Так они и работали: он на лестнице, она внизу, и за всё время он не поправил её ни одним словом. Он показывал руками и ждал. Она что-то говорила ему снизу, с левой стороны, быстро

и тонко, а он не отвечал, пока она не дёргала его за полу куртки, и тогда наклонялся к ней правым плечом. Я подумала: строгий. С девочкой мог бы и помягче.

Потом посмотрела на Клару. Та сияла, как медный таз.

Стекло встало в четверть часа. Он спустился, сложил лестницу, вытер стеклорез о рукав и убрал в чехол.

— Принимайте.

Принимала я долго. Провела пальцем по замазке со всех четырёх сторон, нажала на каждый угол, подышала на стекло и посмотрела против света. Придраться было не к чему, и меня это, честное слово, задело.

— Принято, — сказала я. — Вы не уронили ни одного гвоздя.

— Я в среду предупреждал.

— Могли бы уронить один. Из вежливости.

Он засмеялся. Коротко, в нос, и сразу перестал, как человек, который отвык и сам удивился звуку. Второй курс смотрел на нас во все глаза.

А я смотрела на них. Вот, значит, за что. Он не говорил им речей и, по-моему, вообще мало с ними разговаривал. Он пришёл в субботу в плотницкой куртке, потому что обещал, и полчаса катал замазку рядом с девчонкой, которая со страху рассыпала гвозди. Я десять лет прослужила с людьми, которые умели приказывать. Тех, кто умеет вот так ждать, за все десять лет встретила двоих, и один из них был истопник.

Плохо. Человека, которого любят двести студентов, очень неудобно подозревать. Это я тоже записала, только не в тетрадь.

— Госпожа Брок, — сказал он уже от лестницы. — Ваше.

У стены, за столом, стояло ведро. То самое, клёпаное, с целой дужкой. Пустое и вымытое до того, что на дне можно было разглядеть клеймо мастера. Записки в нём не было. Мои десять кусков угля он, стало быть, принял, а что про это думает, оставил при себе.

Ведро я унесла под мышкой, как кошку.

Декан Герд пришла в половине двенадцатого. Встала посреди двора, достала из кармана плаща часы на цепочке и держала их в ладони, не убирая.

— У вас полчаса.

— Мне хватит двадцати минут. Пойдёмте, покажу, на что они ушли.

Идти ей не хотелось, но часы тикали у всех на виду, а стоять с ними полчаса столбом было бы ещё глупее. Мы поднялись в казарму.

Дверь умывальной висела на месте. Филёнка в ней была новая, светлая, сосновая, и вокруг филёнки кто-то, не удержавшись, прошёлся шкуркой, так что вся нижняя половина двери стала на тон чище верхней. Эрик стоял рядом, руки в карманах, и изо всех сил делал вид, что оказался тут случайно. На щеке у него была стружка.

Я упёрла в дверь палец. Один, мизинец. Дверь пошла, мягко, без звука, и встала в косяк с тем негромким плотным щелчком, от которого у всякого хозяйственного человека теплеет на душе.

— Принято.

— Мы ещё петли смазали, — сказал Эрик небрежно. — Заодно.

— Чем?

— Салом. Грета дала.

— Сало Грете верну из своих. Иди умывайся, староста. В тепле.

Декан Герд смотрела на дверь. Потом взялась за ручку сама, открыла, закрыла. Открыла ещё раз.

— Она не закрывалась с прошлой осени, — сказала она. Рубила она по-прежнему, но тише. — Я писала Бруно. Трижды.

— Бруно, наверное, отвечал, что нет плотника.

— Бруно не отвечал. — Она убрала часы. — В субботу до полудня. Не дольше. И огневиков к стеклу не подпускать, у них руки горячие, лопнет.

— Учту. Спасибо.

— Это не любезность. Мне надоело, что у меня курс простужен.

Она ушла отрабатывать удары. Я решила, что на первый раз это можно считать миром.

Скамью я оставила напоследок.

Янек ждал. Сидел на своей скамье посреди коридора, руки на коленях, и по спине было видно, что ждёт он давно и что сидеть ему уже надоело, а встать гордость не велит. Рыжий с остальными торчали в дверях комнаты.

Я обошла скамью кругом. Села рядом с ним, поёрзала. Встала, взялась за край и качнула: не шатается. Перевернула набок и посмотрела снизу, как посажены шипы. Провела ладонью по сиденью, вдоль и поперёк, не торопясь, как у всех.

— Заноза, — сказала я. — Вот тут, у края. Кто сядет в тонких штанах, тот тебя помянет.

— Где?

— Палец дай.

Он дал. Нащупал, зашипел, схватил шкурку и прошёлся ещё три раза, зло, с нажимом. Я подождала. Провела ладонью снова.

— Принято. Счёт закрыт.

Он молчал и смотрел в стену. Рыжий в дверях открыл рот, и я посмотрела на рыжего. Рыжий рот закрыл.

— И обшлаг, — сказала я. — Который ты в среду штопал. Шов ровный. Мельче, чем у меня.

Секунду ничего не происходило. Потом у него дрогнули плечи, он фыркнул, зажал рот ладонью, не удержался и захохотал в голос, откинув голову, как хохотал маленьким, когда я роняла тесто.

— Занозу нашла, — выговорил он. — Перевернула и снизу смотрела! Я думал, ты её на зуб попробуешь!

— Дубовую не пробую. Зубы казённые.

Теперь хохотала вся комната. Янек вытер глаза рукавом и подвинулся, и я села на принятую скамью рядом с братом, плечом к плечу, уже без всякого счёта.

— Марта, — сказал он погодя, тихо, чтобы не слышали. — А ты знаешь, что он раньше каждую осень сам стёкла вставлял? По всей казарме. Мне старшие говорили.

— А с прошлой зимы что же?

— С прошлой зимы стекла не покупали. Говорят, не на что.

Он сказал это просто, как говорят о погоде. А я подумала про стеклорез, вытертый насухо, и про то, каково мастеру год ходить мимо досок в окнах с инструментом на поясе.

До вечера мы с третьим курсом вставили оба окна на их этаже. Стекло резала я, хуже, чем ректор, и один лист загубила. Доски сняли. Тряпьё из щелей я вытаскивала сама и складывала на подоконник, расправляя: наволочки. Одиннадцать штук, считая ту, что я унесла в первый день.

Все одиннадцать числились в описи чёрными строками. Опись не врала. Наволочки были целы и никуда из академии не делись. Они просто год пролежали не там, где им положено, и делали не своё дело.

Я связала их в узел, взвалила на плечо и понесла стирать. На лестнице остановилась, сама не зная отчего, и минуту простояла с узлом, глядя в стену.

Мысль была совсем рядом. Что-то про эти наволочки и ещё про что-то, чего я никак не могла ухватить. Она постояла со мной на площадке и ушла. Я ей не мешала: до понедельника мне надо было отстирать одиннадцать наволочек, а в понедельник привезут уголь.

Глава 5. По мерке

Обоз пришёл в понедельник, едва открыли ворота. Четыре воза, четыре мохнатые лошади в инее, и на передке первого возчик с бородой, смёрзшейся в одну сосульку. На борту каждого воза белой краской было выведено: «Горный короб. Товарищество».

Возчик слез, похлопал себя по бокам и полез за пазуху.

— Хранитель где? Бруно?

— Бруно на покое. Хранитель я.

Он оглядел меня от платка до валенок и, видно, решил, что бывает и хуже. Вытащил бумагу, сложенную вчетверо, тёплую от тела.

— Четыре воза, восемьдесят коробов. Подпишите, хозяйка, да я поеду. Мне ещё в слободу успеть до обеда.

— Сгружайте к подвалу. Смерим и подпишу.

— Чего смерим?

— Уголь.

Он посмотрел на меня так, будто я предложила взвесить лошадь.

— Бруно у ворот подписывал. С крыльца, не сходя. Двадцать лет.

— Двадцать шесть, — сказала я. — Сгружайте.

Мерный короб стоял наготове, я с вечера оттёрла его от четверговой пыли. Помощников взяла троих: Янека, который после субботы ходил за мной сам, без счёта, и двоих первогодков, задолжавших мне за ножку кровати. Насыпать поставила брата. У него руки длинные и совесть есть, он не станет трамбовать, чтобы вышло поменьше, и не станет ссыпать с горкой, чтобы сестре угодить.

Мерили мы честно, как крупу. Насыпал вровень, провёл рейкой по краям, лишнее назад в воз. Короб несли вдвоём к закрому, высыпали, возвращались. Я стояла у борта и ставила мелом палочки прямо на оглобле.

Пять. Десять. Возчик сперва курил в стороне и усмехался. К двенадцатому коробу он усмехаться перестал и подошёл поближе. Угля в возу оставалось на глаз немного, а палочек на оглобле не хватало ещё восьми.

На пятнадцатом Янек заскрёб лопатой по доскам.

— Марта. Тут дно.

— Выгребай всё. До щепки.

Он выгреб. Шестнадцатый короб вышел полный. Семнадцатый полный. Восемнадцатый он добирал руками, из углов, и рейка легла на него ровно, тютелька в тютельку.

На девятнадцатый не осталось и горсти.

Я посмотрела на оглоблю. Три пятёрки и три палочки. Пересчитывать было нечего, но я пересчитала, тронув каждую пальцем, и мел остался на перчатке.

— Восемнадцать, — сказала я.

— Быть не может, — сказал возчик. Сказал быстро, раньше, чем успел бы удивиться по-настоящему.

— Вот короб. Вот клеймо палаты на дне. Вот воз, пустой. Хотите, обратно пересыплем, считайте сами.

Он не захотел. Стоял, мял в кулаке свою сосульку, и я видела, как у него под бородой ходит кадык.

— Мне как насыпали, так и везу, хозяйка. Я на складе не стою. Мне воз подают гружёный, с бумагой, я запрягаю.

— Я и не говорю, что вы.

— Вы не пишите там, что я. У меня четверо.

— Имени вашего я не знаю и не спрашиваю.

Остальные три воза мерить коробами было бы до ночи. Я сделала проще: на пустом возу отметила мелом по борту, докуда доходил уголь, пока его не тронули. След остался чёткий, чёрная кайма по светлой доске, на ладонь ниже верхнего края. Потом обошла три гружёных и приложила к каждому ту же рейку.

Кайма была на той же высоте. У всех трёх. На ладонь ниже края, ровно, как по шнурку.

Так не бывает, когда недосыпают сдуру или впопыхах. Сдуру выходит где густо, где пусто. А тут кто-то один раз отмерил, сколько можно не доложить, чтобы с крыльца не было видно, и с тех пор сыпал по этой мерке, аккуратно, как аптекарь.

— Что за шум?

Ректор стоял на верхней ступеньке подвальной лестницы, в сюртуке, с грифельной доской под мышкой: шёл, видно, с утренней выдачи. Смотрел он на оглоблю.

— Восемнадцать коробов в возу, — сказала я. — Вместо двадцати. Во всех четырёх.

Я ждала шутки. Или вопроса, хорошо ли я умею считать. Или хотя бы того весёлого в глазах, с которым он в первый день объяснял мне про стулья.

Он молчал. Молчал дольше, чем молчал в четверг над моим листком, и на этот раз в лице у него что-то сдвинулось: так бывает с человеком, которому на лестнице не хватило ступеньки. Он спустился, подошёл к пустому возу и положил ладонь на борт, на чёрную кайму. Подержал. Пальцы на доске побелели.

— Давно так насыпают? — спросил он возчика. Негромко, как всегда.

— Я третий год вожу, господин ректор.

— И три года так?

Возчик посмотрел на меня, на него, на лошадь.

— Я не мерил.

Ректор кивнул, будто именно этого ответа и ждал. Убрал руку с борта. На ладони у него осталась угольная полоса, он её не вытер.

Вот тут бы мне и поверить, что он не знал. Очень хотелось. Но я в четверг сидела напротив этого человека, и он, глядя мне в глаза, отказался сказать, где сгорели шесть возов. Тот, кто умеет так молчать про одно, сумеет, наверное, и удивиться про другое. Я не знала, как он выглядит, когда врёт, потому что пока ни разу его на вранье не поймала, и это само по себе ничего не доказывало.

— Сгружайте, — сказала я возчику. — Всё как есть.

Опись я принесла в подвал, когда последний воз опустел. Раскрыла на угле. Под сорока старыми строками уже проступили четыре новые, бледные, ещё без подписи, и под каждой терпеливо ждало: «принято…»

Двадцать шесть лет после этого слова стояло одно и то же. Я пролистала назад, сколько хватило страниц: «полностью», «полностью», «полностью», и хвостик у Бруно с годами делался всё короче, под конец он едва загибал его.

Перо я обмакнула дважды, потому что с первого раза рука не пошла. Не от страха. Просто это как в чужой кухне переставить соль: вроде твоё право, а всё равно неловко перед теми, кто привык.

«Принято по мерке: восемнадцать коробов с воза. М. Брок».

Чернила впитались. Строка под моей подписью дрогнула, как дрожит воздух над плитой, и подтянулась. Она стала короче остальных. На два деления из двадцати, если мерить ногтем. Сорок старых строк лежали над ней ровные, длинные, одна в одну, и ни одна не шевельнулась.

Реестр, выходит, принял. Он не спросил, почему раньше было иначе. Его дело записать, что подписано.

— Хозяйка. — Возчик протягивал свою бумагу, уже не такую тёплую. — Мне без подписи на склад нельзя.

Я прочла. «Четыре воза, восемьдесят коробов, сдано полностью, претензий не имею».

— Это я не подпишу. Напишу, как в описи: принято по мерке, семьдесят два.

— С такой меня на складе съедят.

— А с этой меня съедят здесь.

Он постоял. Сложил бумагу обратно вчетверо, сунул за пазуху и пошёл к лошадям, не простившись. У ворот обернулся, хотел что-то сказать и махнул рукой.

Вечером я сидела над описью, пока не выгорела свеча. Сорок возов, сорок подписей, сорок раз «полностью». Если недосыпали всегда, то с каждого воза по два короба, а с сорока…

Я остановила карандаш. Этого я не мерила. Я мерила четыре воза в один понедельник, и про остальные тридцать шесть знаю только то, что возчик «не мерил» и что Бруно подписывал с крыльца.

Но думать-то мне никто не запретил. Старика могли обманывать годами. Привозили, он расписывался, не сходя со ступенек, потому что ноги, потому что холодно, потому что двадцать лет возят и ни разу не подвели. Тогда выходит, что часть недостачи сделана вовсе не рукой ректора. И то, что мне предлагали написать на одной странице за два жалованья, получается неправда по меньшей мере наполовину.

Мысль была хорошая. Она мне так понравилась, что я встала и умылась холодной водой.

Потому что понравилась она мне не за то, что верная, а за то, для кого она удобна. С мыслями, которые нравятся, я в жизни ошибалась чаще, чем с теми, от которых тошно. И потом, шесть возов из четверга она не объясняла никак: там строки были серые, тот уголь будто бы сожгли, а недосыпанное сжечь нельзя, его просто не было. Что Реестр делает с тем, чего не было, я не знала. Тогда мне и в голову не пришло об этом спросить.

Свечу я задула. Ключи в кармане были едва тёплые, словно тоже сомневались.

Записку принесли наутро, с нарочным из слободы. Бумага плотная, почерк круглый, чистый.

«Любезная госпожа Брок! Мне уже рассказали о вчерашнем недоразумении у ворот. Вашу добросовестность я ценю, вы знаете. Но мы с вами не станем ссориться с товариществом, которое возит академии двадцать лет, из-за одного неловкого обоза. Мерку мог спутать возчик, уголь мог осесть в дороге, мало ли. Я сам переговорю с ними по-свойски, и всё уладится без записей, которые потом трудно объяснять совету. Ваше дело теперь — списания, тут вам и карты в руки. Преданный Вам Л. Фрид».

Я прочла два раза. Письмо было разумное и доброе. Человек берёт на себя неприятный разговор, бережёт меня от ссоры с поставщиком, напоминает, за что мне платят.

Только рассказали ему уж очень быстро. Обоз ушёл от нас после полудня, а к утру записка уже лежала у меня на столе, и в ней было слово «записи», хотя про запись в описи знали трое: я, возчик и подвальная стена.

И ещё одно. Осесть уголь мог. Но не на ладонь и не у четырёх возов одинаково.

С письмом в кармане я пошла на кухню. Во-первых, я была должна Грете кусок сала за субботние петли и принесла его, завернув в чистую тряпицу. Во-вторых, на кухне думается лучше.

Грета месила. Сало приняла, взвесила на руке, кивнула.

— Восемнадцать коробов в возу, — сказала я. — Вместо двадцати.

Она не обернулась. Руки ходили в тесте ровно, как ходили.

— А когда было двадцать?

— Что?

— Я говорю, когда их было двадцать, ты помнишь? Я вот не помню. — Она перевернула ком и шлёпнула его о стол. — Я двенадцать лет тут. Мне уголь носят вёдрами, я вёдра считаю. Воза на кухню при Бруно хватало на девять дней. Всегда на девять. А в бумагах у него стояло, что на десять, и он всё ворчал, что я жгу лишнее.

— Вы ему говорили?

— А он спрашивал?

Я села на табурет. Двенадцать лет на девять дней вместо десяти. Грета не мерила коробом и не читала описи. Она просто пекла хлеб и знала, на сколько хватает воза, как знают, на сколько хватает мешка муки.

— Грета. Почему вы мне в первый день не сказали?

— А ты в первый день спрашивала про печи. — Она наконец посмотрела на меня, через плечо. — Ты спрашивай, я отвечу. Я за тебя спрашивать не буду, у меня тесто.

Справедливо. Я вынула из кармана письмо господина Фрида, подержала над плитой и убрала обратно. Жечь не стала. Бумагу, в которой тебя просят чего-то не записывать, лучше хранить.

Решилось всё просто. Каждый воз, пока я хранитель: короб, рейка, мел на оглобле, и чтобы видели все. Честному товариществу мой мел не помеха. А скажут, что я ссорюсь, отвечу: я считаю, ссорится тот, кто недосыпал.

Вернувшись к себе, я открыла сундук и достала кулёк. Развязала бечёвку. Пряник был всё такой же, тёмный, с белым крестом, и зачерстветь не успел.

Я съела его целиком, стоя, злясь на каждый кусок. Он был вкусный, и злило меня именно это. Осталось десять.

После обеда в дверь стукнули. Дежурный первогодок, красный с мороза, втащил через порог что-то тяжёлое и поставил с грохотом.

— От господина ректора. Велел передать, что из арсенала, там им порох для учебных хлопушек мерили. Клеймо есть, он сам смотрел.

Второй мерный короб. Дубовый, окованный, чуть поновее Гретиного, и ручки у него были обмотаны свежей дратвой, той самой, какой обмотан стеклорез. На дне, прижатая камешком, лежала записка в осьмушку листа:

«Мерьте всё. Вильм».

Три слова. Ни «госпожа Брок», ни «с почтением», ни объяснений, зачем ректору, которому предлагают сесть за недостачу, помогать хранителю считать быстрее.

Я долго держала записку. Потом положила её в тетрадь, между страниц, туда же, где лежал вчетверо сложенный листок с шестью возами.

Два короба значат, что обоз можно мерить вдвое скорее. А ещё они значат, что либо этот человек ни капли не боится моего счёта, либо боится чего-то совсем другого и надеется, что я досчитаю до этого раньше, чем до него.

За окном потемнело среди дня. Ветер повернул, ударил в стёкла, и с вала понесло первую снежную крупу, сухую и злую, как соль.

Глава 6. Крыша

Крупа сыпала два дня, а в четверг к вечеру превратилась в настоящую метель. Ветер шёл с вала сплошной стеной. Он выл в трубах на три голоса, и Грета сказала, что так воет только к убытку.

Убыток прибежал ко мне в девятом часу, в лице рыжего Янекова соседа, босого и в одеяле.

— Госпожа хранитель! У нас с потолка течёт! То есть не течёт, а сыплется!

Сыпалось в дальней спальне третьего этажа. Тонкой белой струйкой, прямо на крайнюю койку, и на одеяле уже намело горку с шапку. Я подставила ладонь: снег, сухой. Пока сухой. К утру печи его растопят, и потечёт уже по-настоящему, на все койки под этим скатом.

На чердак вела приставная лестница. Я поднялась с фонарём и увидела небо. Не всё: дыру шага в три длиной, между стропил, откуда черепицу сорвало целым рядом. По краям дыры уцелевшие плитки были в бурых оплавленных пятнах, хрупкие, как подгоревший пряник. Кто-то ещё осенью прошёлся по этой крыше огнём, сверху не разглядели, а ветер нашёл.

Я закрыла глаза и сосчитала, что у меня есть. Черепица: в описи числилось двести штук запасной, чёрной строкой, кладовая за кухней. Люди: четвёртый курс. После двери умывальной он у меня ходил гордый, вот пусть и отрабатывает. Рейки, гвозди, верёвка.

Чего у меня не было, так это погоды. Выпустить мальчишек на обледенелый скат в такой ветер значило к утру считать не черепицу.

Кладовая была заперта на замок, которого я прежде не открывала. Я перебрала в кармане связку, не вынимая, и один ключ оказался горячее других, почти как печная дверца. Он и подошёл. К этому я, кажется, начинала привыкать.

Черепица лежала штабелем, переложенная соломой. Я пересчитала верхний ряд и умножила: двести, все целые. Хоть что-то в этой академии лежало там, где записано.

— Сколько нужно?

Обернулась я так резко, что задела фонарём косяк. Ректор стоял в дверях кладовой, в той же плотницкой куртке, что в субботу, и снег у него на плечах ещё не начал таять. Я его не звала. Я вообще никого ещё не успела позвать, кроме четвёртого курса.

— Три ряда, по тридцать две. Девяносто шесть штук. Только класть их сейчас нельзя, сдует вместе с теми, кто кладёт. Я думала завесить дыру парусиной изнутри и ждать до света.

— Парусину сорвёт через час.

— Тогда я не знаю.

Мне нечасто приходится это говорить, и вышло хуже, чем хотелось бы. Он, по-моему, понял и нарочно стал смотреть на штабель.

— Кладите сейчас. Я подержу.

— Что подержите?

— Ветер.

На крышу я вылезла пятой, после Эрика, Янека и ещё двоих, обвязанных верёвкой. И сразу поняла, что зря не спросила, как это выглядит.

Выглядело это никак. Не было ни сияния, ни купола, ни золотых узоров, какие рисуют на вывесках. Ректор стоял на коньке, расставив ноги, одна рука поднята ладонью вверх, как у человека, который проверяет, идёт ли дождь. И над скатом, на три шага во все стороны от дыры, просто не было метели. Она была везде, вокруг, выше, ревела и несла снег полотнищами, а здесь, в круге, воздух стоял тихий и сухой, и фонарь горел ровно.

Слышно было, как снег шуршит по чему-то невидимому над головой. Так шуршит пшено, когда его пересыпают из мешка в ларь.

— Щит, — сказал Янек с уважением. — Плоский, потолочный. Я такой держу до счёта двадцать.

— А он?

— Не знаю. Никто не видел, чтобы он его ронял.

— Давайте я подменю, господин ректор! — крикнул он вверх. — Хоть на край!

— Ты кладёшь. У тебя руки длинные.

Работа пошла. Эрик грел ладонями обледенелые рейки, и лёд сходил с них с тихим треском; вот на что, оказывается, годятся огневики, когда их не пускают к стеклу. Янек принимал черепицу и сажал на гвоздь. Двое на чердаке подавали в дыру, я принимала у них и передавала дальше. Ещё шестеро цепочкой носили плитки из кладовой, через двор и три этажа, и я слышала, как они ругаются на лестнице.

И считала. Вслух, громко, каждую плитку.

Про высоту я никому не говорила с двенадцати лет, когда сняла с крыши нашего сарая соседского кота и потом час не могла слезть сама. Три этажа казармы, скат, лёд, внизу брусчатка в чёрных пятнах. Если смотреть на черепицу в руках, то ещё ничего. Я смотрела на черепицу. Одиннадцать. Двенадцать. Ладони у меня были мокрые в рукавицах, и я держала каждую плитку так, будто она из сахара.

— Марта, ты чего орёшь? — спросил брат, не оборачиваясь. — Мы не глухие.

— Чтобы не сбиться.

— Ты никогда не сбиваешься.

— Вот поэтому.

Первый ряд лёг к полуночи. На втором я заметила, что тишина над нами стала другая. Шуршало по-прежнему, но круг сузился: снег теперь сёк по краю ската в шаге от моего сапога, а раньше до него было три.

— Господин ректор! — Я крикнула снизу вверх, через плечо. — Щит садится! Левый край!

Он не шевельнулся.

— Левый край, слышите? На нас метёт!

Ничего. Он стоял ко мне левым боком, как стоял с самого начала, лицом в ветер, и не повернул головы. Я набрала воздуху в третий раз, злая уже по-настоящему: человек держит над нами крышу, а докричаться до него нельзя, потому что ему, видите ли, неугодно отвечать, когда спрашивают не с той стороны.

— Он не слышит, — сказал Янек.

— Вижу, что не слышит! Задумался!

— Да нет. Он на это ухо не слышит. Совсем. С границы ещё, там рвануло рядом. — Брат посадил плитку, пристукнул. — Все знают. Мы к нему справа подходим, с первого курса так учат. Ты разве не заметила?

Пятьдесят первая черепица лежала у меня в руках. Я её чуть не выронила.

Заметила ли я. Я заметила в первый же день. Я десять дней это замечала и десять дней записывала на его счёт: смотрит мимо, подставляет щёку, слушает как просителя. В подвале спросила в лоб, и он сказал «с этой стороны я красивее», а я ещё подумала: надо же, какой самодовольный. В субботу решила, что он строг с девочкой, которая дёргает его за куртку.

Он всякий раз поворачивался ко мне тем ухом, которым мог меня услышать. Ровно так, как подставил мне потом правую ручку короба.

Мне сделалось жарко под платком, посреди метели, на крыше. Стыд, оказывается, греет лучше угля, и в описи его тоже нет.

— Держи, — сказала я и сунула черепицу брату.

До конька было шагов шесть по скату вверх. Я прошла их на четвереньках, цепляясь за рейки, не глядя никуда, кроме собственных рукавиц, и считая теперь вдохи. Обогнула его

сзади, по самому гребню, где не было вообще ничего, кроме ветра по ту сторону тишины. Встала справа. Колени у меня были ватные.

— Левый край садится, — сказала я обычным голосом. — На ребят метёт.

Он повернул голову сразу.

— Вижу. Сейчас.

Поднятая рука дрогнула и чуть подалась влево. Шуршание отодвинулось. Вблизи я разглядела то, чего не было видно снизу: куртка у него на спине промокла насквозь и схватилась ледяной коркой, а на виске, на морозе, блестел пот.

— Вы зачем сюда залезли? — спросил он. — Вы же высоты боитесь.

— Кто вам сказал?

— Вы считаете вслух. Вы всегда считаете, когда вам страшно. В подвале вы считали для дела, ровно.

Ответить мне было нечего. Я десять дней смотрела на этого человека и не разглядела, что он глухой на одно ухо. А он на третий день разглядел, как я боюсь.

— Я десять дней думала, что вы от меня отворачиваетесь, — сказала я. — Из гордости.

— Я знаю.

— И молчали.

— Вы так хорошо сердились. Жалко было мешать.

Тут надо было бы обидеться, но рука у него опять дрогнула, сильнее, и снег хлестнул по скату у самых Янековых сапог. Третий час он стоял с поднятой рукой. Я видела такие руки у санитаров, державших носилки на переправе: сначала дрожит кисть, потом плечо, потом человек роняет.

— Чем вам помочь?

— Ничем. Сахару бы. — Он попробовал усмехнуться, дышал он часто. — В кармане. Не достану.

Нагрудный карман куртки оттопыривался. Я стянула рукавицу зубами и полезла туда сама, под обледенелый клапан. Пальцы наткнулись сперва на бумагу, сложенную вчетверо, и я узнала на ощупь собственный счёт за стекло и расписку. Он носил их с собой. Под бумагой лежала жестянка, плоская, с оплавленной крышкой, тёплая от него.

Крышку я поддела ногтем. Леденец был мятный, липкий. Свободной руки у него не было, вторая держалась за громоотвод.

— Откройте рот.

Он открыл. Я положила ему леденец на язык, как кладут ребёнку порошок, и он закрыл рот и посмотрел на меня поверх собственной поднятой руки, серыми глазами, в которых от веселья осталось совсем немного, а усталости было на троих.

— Спасибо, Марта.

— Стойте смирно.

Назад я не пошла. Села на конёк у его правого колена, спиной к трубе, жестянку держала в кулаке. Считать плитки стало некому, и Янек считал сам, путаясь и поправляясь. Каждый раз, когда щит начинал шуршать ближе, я говорила: «Левый». Или: «Над Эриком». И он поправлял. Через час скормила ему второй леденец, ещё через час третий.

Про брусчатку внизу я за всё это время вспомнила один раз. Удивилась и забыла.

Последнюю, девяносто шестую, Эрик посадил, когда небо над валом стало серым. Ветер к тому времени выдохся сам. Ректор опустил руку, медленно, придерживая её другой, как чужую, и тишина над нами лопнула: остатки снега ссыпались разом на свежую черепицу, тихо, уже без злобы.

— В субботу, — сказал он, глядя на новый ряд, — покажу вам полигон. Что там горит на самом деле. Вы спрашивали.

— Я спрашивала про стулья.

— Начнём с полигона.

Спускался он сам. Только на чердачной лестнице на миг взялся за моё плечо, крепко, всей ладонью, и тут же убрал руку.

Ночную смену я кормила на кухне в шестом часу. Грета, не спрашивая, наварила каши с салом на двенадцать человек, и четвёртый курс ел молча, засыпая над мисками. Эрик уснул с ложкой во рту. Янека я отправила спать пинком.

За ночную работу сверх урока полагается добавочная порция: это в уставе, я проверила ещё на прошлой неделе. В канцелярии я достала ведомость довольствия, чтобы вписать всех двенадцать как положено, с подписью, и открыла её на первом листе.

Первой строкой шёл ректор. Так заведено: сперва начальство.

«Вильм К., ректор. Довольствие: стол, свечи, уголь, сукно». И дальше по месяцам клетки, в которых получивший ставит подпись.

Клетки были пустые.

Я перевернула лист. Пусто. Ещё лист. Последняя его подпись стояла в конце весны, а потом шло ровное белое поле на полгода, до сегодняшнего числа. Ни стола, ни свечей, ни угля, ни сукна на новый сюртук. Ниже шли деканы, писарь, Ульрих, Грета, и у всех клетки заполнены, аккуратно, месяц в месяц.

Я водила пальцем по пустым клеткам, и бумага холодила подушечку. В тетради у меня лежали стулья, одеяла и шесть возов, всё его рукой или его молчанием. А здесь лежало полгода без его подписи, ровное белое поле: ни свечи, ни ведра, ни сукна на новый сюртук. Вор, который обкрадывает сам себя, мне за десять лет не попадался ни разу.

Одно рядом с другим у меня в голове не помещалось. Я и не стала запихивать.

Перо я обмакнула и вписала внизу списка тринадцатого. «Вильм К. Ночная порция, одна». В клетке для подписи поставила свою и приписала: «выдано хранителем».

Кашу понесла сама. Миску обернула полотенцем, сверху положила ломоть хлеба.

В кабинете горела непогашенная лампа. Он спал за столом, сидя, на одном из четырёх стульев: так и не дошёл до своей лестницы. Куртка, оттаяв, висела на спинке и капала на пол. Голову он уронил на согнутую руку, правой щекой вниз, и здоровое ухо было прижато к рукаву.

Наконец-то он никого не слушал.

Я поставила миску на край стола, подальше от локтя, чтобы не смахнул. Вынула из кармана жестянку, в которой осталось два леденца, и положила рядом. Лампу прикрутила.

Будить не стала. В дверях постояла, сама не знаю сколько.

Глава 7. Что горит на самом деле

За вал я вышла первый раз за двенадцать дней и сразу пожалела, что не надела вторые чулки.

Ворота на полигон были низкие, окованные, и по железу шли радужные разводы, какие бывают на дне сковороды, забытой на огне. Ректор отпер их своим ключом. Мой, из связки, грелся в кармане и просился, но я решила его не баловать.

— Вы завтракали? — спросил он.

— Я никогда не хожу смотреть на убытки натощак.

— Тогда идёмте, пока курсы спят. До восьми здесь пусто.

Полигон оказался полем. Большим, в три слободских выгона, плоским и чёрным. Снег, который лёг на академию после метели, тут держался только по краям, а в середине земля проступала голая, спёкшаяся, в стеклянистых проплешинах, и под сапогом хрустело, как на рассыпанной соли. Пахло гарью, только холодной и старой, въевшейся, совсем непохожей на печную.

Он шёл слева от меня. То есть это я шла справа от него, обошла ещё у ворот и встала, не задумываясь, как встают по ту сторону стола, где удобнее рукам. Заметила уже на ходу. Он, по-моему, тоже заметил и ничего не сказал.

— Спрашивайте, — сказал он. — Что хотите знать?

— Всё, что тут сгорает. Поштучно. Чтобы я потом в описи отличала честную потерю от прочих.

— От прочих, — повторил он без выражения. — Хорошо. Первый рубеж.

Первый рубеж был ряд дубовых щитов на козлах, в рост человека, каждый с намалёванным кругом. Вернее, щитами они были когда-то. Теперь от одних остались козлы, от других обугленная половина, а третий стоял целый, только с дырой посередине, круглой и такой аккуратной, словно её вынули формочкой для печенья.

— Мишени. Сорок штук на осень, к зиме остаётся десяток. Это огневики.

Он провёл пальцем по краю дыры и показал мне. Край был гладкий, тёмный и блестел.

— Огонь мага идёт узко и очень горячо. Дерево не успевает загореться, оно плавится по срезу, как воск. Видите? Ни копоти вокруг, ни трещин. Потрогайте.

Я потрогала. Гладко, как глазурь на крынке.

— А это, — он перешёл к соседним козлам, — щитовик.

Тут доска была расколота вдоль, сверху донизу, ровно, без единой щепки. Скол чистый, светлый, будто её не ломали, а разняли по шву.

— Щит не жжёт. Он стоит. Но если его плохо держат, он едет вбок и срезает всё, что по дороге. Стекло, доску, угол стены. Второй курс так и говорит: «поехал».

— Клара так сказала.

— Клара ещё долго будет так говорить. У неё щит сильнее рук.

Сказал он это с удовольствием, как Грета говорит про тесто, которое хорошо подошло. И дальше пошёл сам, уже без моих вопросов.

Щитовые столбы, каменные, в обхват: на них учатся ставить щит на опору, и столб понемногу крошится, за год уходит ладони на две. Соломенные чучела в старых куртках: эти горят целиком, быстро, с треском, и их вяжут заново первогодки. Вёдра с песком вдоль рубежей, половина без дна. Рукавицы из воловьей кожи, которые выдают парами, а возвращают по одной. Верёвки. Вешки. Фонари с ночных занятий: стекло у них лопается от одного только жара рядом.

У вёдер он остановился, поднял одно, без дна, и повернул ко мне.

— Ну-ка. Кто?

Я заглянула внутрь. Жесть по кругу была срезана чисто, светлой блестящей каймой, ни пятнышка копоти, и дно, целёхонькое, лежало тут же в песке, как крышка от банки.

— Щитовик. Поехал.

— А это?

Второе ведро было с дном, зато в боку у него зияла дыра с гладким тёмным наплывом по краю, похожим на застывший вар.

— Огневик. И стоял близко, шага на три.

— На два. — Он поставил ведро на место. — Вас можно ставить принимать зачёт у первого курса.

— За отдельное жалованье.

Про всё это он говорил точно и коротко, называя число: сколько на курс, сколько на осень, сколько доживает до весны. Я шла рядом и складывала в уме, и выходило, что цифры у него в голове лежат не хуже, чем у меня в тетради. Человек, который не хочет говорить про деньги, оказывается, знал своё хозяйство до рукавицы.

Про себя он не сказал ни слова. Зато я узнала, что третий курс лучше всего держит строй в сырую погоду, что огневиков нельзя ставить против солнца и что чучелу он велит надевать шапку, иначе первогодки целят в голову, а это дурная привычка.

— Шапку, — сказала я.

— Шапку.

— Шапки в описи есть?

— Двенадцать. Гаснут к Средизимью.

Я засмеялась, и он засмеялся тоже, во второй раз на моей памяти и уже подольше, чем в прошлую субботу. Ветер с поля нёс нам в лицо мелкую чёрную пыль. Мне было холодно, весело и легко, как бывает легко с человеком, с которым делаешь одно дело и не надо ничего объяснять.

Вот это мне и не понравилось.

Не он сам. Он был хорош, чего уж там: в распахнутой куртке, с этой своей быстрой походкой, с рубцом под глухим ухом, который я теперь видела иначе. Не понравилось, до чего мне с ним легко. Двенадцать дней назад я приехала сюда считать, и с тех пор мне дважды показали, какой он славный, на крыше и у окна со стеклорезом, и ни разу не показали, где стулья.

— Дальше, — сказала я суше, чем собиралась.

Мы дошли до последнего рубежа, где стояли столбы потолще и земля была взрыта. За ним поле тянулось ещё шагов на триста, уже под снегом, и упиралось в полосу голых деревьев. Над деревьями висело серое небо.

— А там что?

— Дальше не пойдём.

— Там что-то горит?

— Там старый рубеж. — Смотрел он при этом на меня, деревья его не занимали. — Я прошу вас туда не ходить.

Он не сказал «нельзя». Не сказал «опасно», хотя мог бы, и я бы поверила: место такое. Он попросил, и по голосу было слышно, что просит он редко и не любит.

Я посмотрела под ноги. От последнего столба через снег к деревьям уходила тропа. Не дорога, не колея. Узкая, в одну ступню, утоптанная до льда, какие бывают только там, где ходят каждый день и подолгу.

Для места, куда не ходят, она была очень уж хорошо набита.

— Мне к восьми на повинность, — сказала я. — У меня сегодня второй курс стеклит умывальную.

— Я провожу.

Всю дорогу до ворот мы молчали. Он шёл слева. Сама я уже не помнила, с какой стороны мне полагается идти.

В воскресенье академия спит до девятого часа, а писарь уходит в слободу к обедне. Канцелярию я отперла сама. Затопила, положила на стол опись, слева чистый лист, справа карандаш, заточенный с вечера.

Теперь я умела читать серое.

Раньше я искала серое без подписи: то, что погасло само. Вчера на поле мне показали, что само гаснет только то, что и правда горит. То, что съел полигон, гаснет само: строка выцветает, рядом встаёт число, и никто за неё не расписывается, потому что мишень не спрашивает позволения сгореть. Таких строк были десятки и десятки. Я нашла в них всё, что видела вчера. Мишени, сорок на осень. Чучела. Вёдра. Рукавицы, непарные. Даже шапки, двенадцать штук, честно погасшие к середине зимы три года подряд.

Полигон сходился. До последней вешки.

Тогда я взялась за другое серое. За то, возле которого стояло «списано» и две буквы.

Листать пришлось с начала, с главного корпуса. Я вела пальцем по строкам и выписывала на лист всё, что помечено его рукой, вещь и число. Работа была тихая, почти сонная. Трещала печь. Под пальцем шуршала бумага Реестра, плотная, чуть тёплая.

Стул с высокой спинкой, восемь. Это я знала.

Стол сосновый, один. Из малой учительской.

Кровать железная, с сеткой. Одна, казарма, запасная. Ещё одна. Ещё.

Я перестала читать вслух номера комнат и просто ставила палочки, как на оглобле. Кровати шли из запасных, из лазарета, две из гостевых комнат при главном корпусе, куда, судя по пыли на замке, никого не селили давно. Тюфяки шли следом, по одному на кровать. Одеяла шерстяные серые, казённые. Подушки. Миски. Кружки. Два фонаря. Топор. Пила двуручная. Котёл медный малый.

И отдельной строкой, с кухонного двора: «Печь чугунная переносная, с коленом. Списано, К. В.»

Я дошла до конца и сосчитала палочки.

Кроватей девять. Тюфяков девять. Одеял восемнадцать. Печь чугунная одна.

Потом посидела, глядя на лист. В печи стрельнуло полено.

Ни одной мишени. Ни одного чучела, ни единой рукавицы, ни вешки. За три года ректор академии боевых магов не списал своей рукой ничего из того, что горит на учениях. Оно и понятно: то гаснет само, ему незачем.

Его подпись стояла только там, где вещь сгореть на полигоне не могла. Железная кровать не выйдет на рубеж. Тюфяк не встанет под щит. Чугунную печь огневик третьего курса, пожалуй, и не проплавит.

«Уничтожено на учениях», сказал он мне в первый день про стулья. А я спросила: в кабинете? И он ответил, что учения бывают разные, и глаза у него были весёлые.

Я посмотрела на даты. Почти всё ушло в одну неделю, три года назад, в конце осени. Он тогда пробыл ректором месяц с небольшим. Потом шло понемногу: одеяло, ещё одеяло, фонарь взамен, кружки. Так докупают в дом, где что-то изнашивается.

В дом.

Девять кроватей с тюфяками, по два одеяла на каждую, стол, восемь стульев, посуда, печь с коленом, топор и пила для дров. Этим не торгуют: за казённую кровать с клеймом в слободе не дадут и половины, да и продать её негде. Это не украдено на продажу. Этим обставлено жильё. Где-то, где топят, едят за столом и сидят на стульях из ректорского кабинета.

И топят, надо думать, не дровами. Шесть возов.

Карандаш у меня в пальцах хрустнул. Я положила обе половинки на стол, аккуратно, одну к другой.

Господин Фрид, выходит, не соврал мне ни в чём. Одеяла, кровати, печь чугунная: он назвал их на второй день, с пряником в руке, и я ещё гордо ответила, что не видела и не подпишу. Теперь видела. Вот они, палочками.

А я что делала эти двенадцать дней? Я мерила подвал и радовалась, какой он честный, раз носит короб. Сидела на крыше и кормила его с руки. Вчера утром шла с ним через поле и смеялась про шапки, и мне было легко, и он попросил не ходить к деревьям, и я не пошла. Как собака, которой сказали «место».

Десять лет я отучала сиделок верить тому, кто дарит платки на именины. И сама растаяла от стеклореза.

Злилась я долго и основательно, пока не прогорела печь. Потом переписала лист набело, крупно, в два столбца: что и сколько. Наверху поставила: «Списано подписью ректора. Не полигон». Внизу оставила место.

Чего на листе не было, так это ответа, где оно всё. И ещё кое-чего. Я посмотрела на девятку возле кроватей и поняла, что стулья он взял из собственного кабинета. Не из класса, не из трапезной, где их полсотни и никто бы не хватился до весны. Из-под себя. Вор берёт там, где не заметят. А этот взял там, где первый же вошедший с описью недосчитается восьми.

Объяснять это я себе не стала. Хватит, наобъяснялась. Есть человек, который знает, куда двадцать шесть лет уходили вещи из этой академии, потому что каждый год расписывался в приёмке. Он живёт в слободе, у него больные ноги, и завтра у меня до него руки не дойдут, а во вторник дойдут.

В дверь стукнули. Писарь, вернувшийся от обедни, румяный, с крошками в усах.

— Госпожа хранитель, господин ректор спрашивает, придёте ли вы ужинать в трапезную. Говорит, Грета печёт с капустой.

Я сложила лист вчетверо и убрала в карман передника, к ключам.

— Скажите господину ректору, что я считаю.

— А ужин?

— Ужин я тоже посчитаю. Потом.

Писарь постоял, ожидая, не добавлю ли я чего. Я не добавила.

Глава 8. Двадцать шесть лет

Валовая слобода начиналась сразу под горой: сотни полторы дворов, одна длинная улица и колодец с журавлём посередине. Дом Бруно Клауса мне показали раньше, чем я договорила вопрос. Синие ставни, поленница под навесом, сложенная так ровно, что по ней можно было проверять угольник.

Он открыл сам. Сухонький, в вязаной безрукавке, на двух палках, и глаза у него были светлые и быстрые, совсем не стариковские. На кольцо с ключами у меня в руке он посмотрел сразу, как смотрят на своё старое пальто на чужих плечах.

— Греются?

— Греются.

— Ну, значит, признали. Заходи, хранитель. У меня яблоки сушёные и чай с чабрецом.

Комната была маленькая, жарко натопленная и пахла яблоками и котом. Кот, рыжий, толстый, лежал на подоконнике и на меня не взглянул. Бруно усадил меня на лавку, сам долго устраивался напротив, пристраивал палки, двигал чашки. Руки у него были в старых белых шрамах от ожогов, мелких, частых: двадцать шесть лет среди огневиков даром не проходят.

Говорил он охотно. Про то, что заслонку в моей комнате надо стучать совком пониже, у самой петли. Про кухонную кладовую, где мыши проели нижнюю полку ещё при прошлом ректоре. Про Грету, которая пришла девчонкой и в первый же месяц выгнала с кухни помощника повара. Про дверь умывальной он уже знал, слобода знала всё: сюда спускаются за табаком истопник и писарь.

— Повинность, говорят, завела. По субботам. — Он покачал головой, и я не поняла, одобряет или жалеет. — Я не додумался. Я им сам чинил, пока ноги ходили.

— А когда перестали ходить?

— Тогда перестал чинить.

Я выпила полчашки и съела три яблочные дольки. Он спросил, топлю ли я у себя как следует. Я сказала, что топлю. Он кивнул и спросил, глядя в свою чашку:

— А он ест?

— Кто?

— Конрад. Он ест чего-нибудь?

Спросил он это так, как спрашивают про сына, который уехал и редко пишет. Я вспомнила пустые клетки в ведомости.

— В трапезной, со студентами. Довольствия полгода не берёт.

— Полгода, — повторил Бруно. — Ишь. При мне брал через раз.

Больше он ничего не добавил и потянулся за чайником. А я поняла, что если не начну сейчас, то просижу тут до вечера, узнаю всё про мышей и уйду с пустыми руками. Старик двадцать шесть лет заговаривал зубы ревизорам.

Лист я вынула из кармана передника и развернула на столе, между чашками. Тот самый, набело, в два столбца.

— Это списано подписью ректора за три года. Всё, что не с полигона. Вы принимали и сдавали опись каждый год, господин Клаус. Вы это видели.

Он взял лист не сразу. Вытер пальцы о безрукавку, надел очки, которые висели у него на шнурке. Читал долго. Палец с белым шрамом шёл по столбцу сверху вниз и на слове «кроватей» остановился.

— Девять, — сказал он. — Верно. Одну он после добавил, через год.

— Куда они ушли?

Бруно снял очки. Сложил лист по моим сгибам, точно, вчетверо, и подвинул ко мне через стол.

— Хорошо посчитано. Чисто. Я бы так не смог, у меня к концу и в столбик не выходило.

— Господин Клаус.

— Я подписывал не глядя, — сказал он. — Ты это хотела услышать? Двадцать шесть лет глядел, а последние три не глядел. Он приносил, я подписывал. «Сдано, принято, расхождений нет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.